



Москва

11
2013

Журнал русской культуры

Выходит с марта 1957 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив
журнала «Москва»

16+



11
2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

<i>Наши публикации.</i> Сергей ДУРЫЛИН. Золотая осень. Рассказы	3
Наталья ЛЯСКОВСКАЯ. Слова в таинственном порядке... Стихи	16
Василий АКСЕНОВ. Моление. Роман (окончание)	22
Олег ДЕМЧЕНКО. Летнее светлое счастье. Стихи	117
Валерия ШУБИНА. Памяти погибшей сирени. Рассказы	121

ПУБЛИЦИСТИКА

Эдуард ПОПОВ, Ирина ВЕЛИГОНОВА. Спаситель Отечества	148
Владимир ИВАНЕНКО. Иран. Итоги правления М.Ахмадинежада и проблемы для нового президента	159
Александр ЩИПКОВ. Три тоталитаризма	172

КУЛЬТУРА

Наталья ФЕДЧЕНКО. Леонид Бородин: в поисках «золотой рыбки»	184
Алексей ГЕОРГИЕВСКИЙ. Художник милостью Божией	207
<i>Антология одного стихотворения</i> Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович	220

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ирина КИСЕЛЕВА. «Его молитва — это плач сокрушенного сердца...» — Наталья ФЕДОТОВА. О поэзии, музыке и мощи критической мысли	223
---	-----

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Александр ВАСЬКИН. Как Петр Великий в Москве Триумфальные ворота поставил	229
--	-----

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ. Из чего рождаются гонения на Церковь	232
Письмо из Парижа протоиерею Александру Шаргунову	234
Ольга ЧЕТВЕРИКОВА. Французские патриоты: вся надежда на Россию!	236

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Отдел культуры О.Ю. ТАРАНЕНКО (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСИЙ (ФРОЛОВ),
игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, И.И. ПЕРЕВЕРЗИН, В.Г. РАСПУТИН, А.С. САЛУЦКИЙ,
М.Б. СМОЛИН (председатель), архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 28.10.13. Формат 70x108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ 3529.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: **73253** — каталог РОСПЕЧАТЬ, **15612** — «Пресса России», **45211** — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор». 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495)988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 11, 2013

СЕРГЕЙ ДУРЫЛИН



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

РАССКАЗЫ

Сергей Николаевич Дурьлин (1886–1954) — религиозный мыслитель, филолог, искусствовед, прозаик, поэт. В 1912–1918 годах — секретарь Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. В 1917 году принял священство, в начале 20-х годов подвергся репрессиям.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Бабушкин день

Отрывки из чьих-то записок

Мы росли сиротами, я, брат и сестра, все погодки, все похожие друг на друга лицом, все не выговаривали русского «л», росли с няней, Анфусой Геннадьевной, и французской, madame Justine, в трех детских с лежанкой, со старым шпицем Дидро*, которого няня звала Дидрошкой, у бабушки в именье, за Волгой, и самое милое, и самое редкое у нас на свете был дедушка. Мы сходили к нему на низ с антресолей, где были детские, два раза в день, утром и вечером, перед сном, мы целовали его полную, всю в синих жилках руку с большим алмазным перстнем на безымянном пальце, а он гладил нас по голове, усаживал вокруг своего кресла и приказывал лакею Григорию налить нам по маленькой китайской чашечке шоколаду, а сам улыбался, глядя, как мы пили с тминным печеньем, стараясь подольше продлить наслаждение, и на зеленый шотландский плед, укрывавший ноги бабушки, падали крошки сдобного печенья, а пухлый ангорский кот Пальмерстон подбирал их тонким розовым язычком...

Высшее наказание состояло в том, что madame иногда говорила кому-нибудь из нас: «Vous ne boirez plus du chocolate de grand-pap»**.

А самое большое горе в детстве моего брата, князя Арсения, было, когда он разбил бабушкину китайскую чашечку: он задел ее локтем, увлеченный разговором с бабушкой, она мягко упала на ковер и, кажется, не столько разбилась, а сломалась от собственной хрупкости, и густой шоколад пролился на

* Зачеркнуто: Вольтером.

** Вы больше не будете пить шоколада бабушки (*фр.*).

Публикация и расшифровка рукописи А.Б. Галкина. РГАЛИ. Ф. 2980, оп. 1, д. 182, л. 41–43, 54–56.

белого кота Пальмерстона, и он, сердито замыкав, убежал с дедушкиных колен. Брат рыдал над осколками и все говорил, отходя от слез:

— Я склею ее! Ведь можно склеить? Ведь да?

Брата утешали, что все будет склеено. А дедушка посылал в город разыскать такую же чашку, но другой такой не было.

Сестру, как маленькую, уводили от дедушки первой, а мы вели разговор за дедушкиным шоколадом. Это было единственное время, когда нам позволялось говорить с дедушкой.

— Дедушка, ты был в двенадцатом году? — спрашивал брат Арсений, который был посмелее меня.

— Был, мой друг, был, — отвечал дедушка и лукаво улыбался.

— А ты воевал?

— Воевал, мой друг.

И брат восторженными глазами начинал смотреть на дедушку, который невозмутимо продолжал:

— Как же воевал, вот так же, как ты изволил воевать с китайской чашечкой.

Арсений глубоко вздыхал и укоризненно отвечал деду:

— Ах, дедушка, какой ты!

Но дедушка на это отвечал:

— Седой, мой друг, седой да старый — вот какой.

И тут же привлекал к себе брата Арсения, усаживал на колени, причем бедный Пальмерстон недовольно подвигался, чтобы дать место брату, но не сходил с колен, прижимаясь к дедушке... Брат Арсений прощал деду все коварство с 12-м годом и слушал затаив дыхание, что рассказывал дед. А дед рассказывал со слов своего отца о князе Италийском, как он называл Суворова.

Когда я стал учить географию и узнал слово «итальянский», я никак не мог согласиться, что эти два слова об одном и том же: мне все представлялось, что «италийский» — это что-то высокое, что-то единственное, грозное, прекрасное, снег и огонь, а «итальянский» — это что-то скучное и маленькое, с границами, реками и обрабатывающей промышленностью, что-то учебное и противное.

— Князь Италийский был величайшим полководцем, — говорил нам дедушка, — и величайший простец, да, любезный мой, вот что примечательно: величайший простец.

— Он не учился, дедушка? — перебивал брат Арсений недоуменно.

— Нет, учился, мой друг, и прекрасно притом изволил учиться, но он был простец сердцем, сердцем простец, — повторял дедушка, — что в свете редчайше встречается.

И дед на время обрывал рассказ, задумавшись, и мы торопили его и слушали, ловя слова на лету, а потом, у себя в детской, когда кончался дедушкин час и мама уводила нас на антресоли, мы переживали долго, про себя, дедушкин рассказ, вспоминая с братом вслух все подробности. Сестре мы ничего не рассказывали: мы считали ее, как девчонку, недостойной этого, и только иногда брат, став перед ней и ее куклами в важную позу, поднимал руку вверх и ребяческим баском своим возглашал:

— Италийский!

* * *

Вечером, перед сном, мы приходили к дедушке прощаться. Он благословлял нас, и опять мы целовали руку, и опять тут было величайшее

счастье. Но это уже были не рассказы, а вещи. Дедушка доставал из кармана большую эмалевую, розовую с золотом табакерку с музыкой, и в ней что-то нежно и грустно, слабым-слабым звуком, играло и переливалось, будто булькала где-то серебряная вода, в саду у мальчиков-с-пальчик.

Сестра, княжна Аня, все хотела найти дырочку, «откуда идет музыка»: она была уверена, что музыка — это маленькая девочка с шапкой-невидимкой. Она выходит из дырочки и звенит крохотными серебряными колокольчиками и оттого звенит в табакерке, но никогда, никогда не могла она найти эту девочку. Или, может быть, это была не девочка, а мальчик? Но и его не нашла княжна Аня.

Иногда дедушка снимал с пальца алмазный перстень и на обратной стороне нажимал какую-то точку, и там открывалась крохотная круглая дверка, а в ней сверкал маленький, как голубая точка, сапфир.

— Зачем он у тебя, дединька, в колечке? — спрашивала Аня.

И дедушка шутил:

— Ах, мой друг, он такой маленький, такой маленький, что боится выйти на свет Божий, вот и спрятался под колечко.

Аня закрывала золотую дверку своими маленькими пальчиками и надевала перстень на палец дедушке.

Иной раз дедушка доставал золотые тяжелые часы, раскрывал нижнюю крышку и показывал нам механизм, который весь, всеми винтиками и колесиками, валиками и пружинками, изображал двуглавого орла. И дедушка хитро улыбался и приближал нас с раскрытым механизмом к уху брата Арсения и говорил:

— Слышишь, орел-то мой хоть и двуглавый, а живой: летать не может, а ходит. Слышишь, как ходит?

Мы уходили от дедушки спать, и какие чудесные сны мы видели! Летал двуглавый орел по голубому небу, синяя точка сияла на золотом поле, как кусочек отколовшегося неба, и вокруг нее мальчики- и девочки-с-пальчики водили хоровод и пели тихие песенки. А дедушкина розовая с золотом табакерка стояла подле, огромная и важная, и мечтала про себя: «Все запомню, все запомню и как-нибудь спою от нечего делать, я ведь очень музыкальная».

Мы знали теперь, откуда в табакерке песенки.

* * *

Но был в году один день, когда мы не пили «дедушкин шоколад» и музыка не играла в розовой табакерке. Это был «бабушкин день», день памяти нашей бабки, Елены Андреевны.

В этот день мы не видели дедушку. Он с раннего утра уходил в церковь, к заупокойной обедне, а возвратившись, ел кутью с имбирем и, выпив чаю, уходил на весь день до позднего вечера в бабушкину комнату. Целый год эта комната, крайняя в доме, с окнами в сад, в белую сирень, не растворялась и никто не смел туда входить. Ключ от комнаты был всегда у дедушки под подушкой. И вот в бабушкин день тяжелый ключ с бронзовой шейкой в бронзовом замке в белой двери — и дед на целый день затворялся в комнате. Никто не знал, что он там делал. Он выходил лишь к обеду, который подавался ему в кабинете, весь сразу и так, что лакей не входил уже в кабинет и, пообедав, дедушка вновь возвращался в бабушкину комнату, и лишь поздно ночью, когда все в доме уже спали, он уходил оттуда. Мы не любили этого «бабушкина дня», мы ревновали к нему дедушку, который должен был быть наш дедушка, и

ничей другой, и бабушку мы знали только по портрету: это была дама с белой розой в волосах, в зеленом бархатном платье, с черной собачкой в руках; она улыбалась на портрете, — теперь бы я сказал, грустной и спокойной улыбкой, а тогда нам казалось: она, как madame, смотрит на нас насмешливо, словно хочет сказать: «Ну, как вы думаете еще нашалить, мои милые?» — и мы не любили ее. Зачем дедушка уходил в ее комнату? И что там?

Однажды брат Арсений, отозвав меня в темный уголок детской, сказал мне:

— А знаешь, бабушка жива!

Я ничего не нашелся ему возразить: он своей решительностью в суждениях всегда озадачивал меня.

— Она целый год спит, — продолжал он таинственно, — а в этот день дедушка ее будит. Чтобы ее не разбудить, туда и не ходят.

— Нет, — отвечал я, оправившись от братниной решительности, — это не бывает, так долго не спят.

Но брат возразил мне на это, что спала же долго, гораздо дольше бабушки, *la belle au bois dormant**, про которую нам читала madame Justine.

Однако я нашелся, что ему ответить, и очень обрадовался этому:

— А что она ест?

Брат молчал, а я торжествовал:

— Год нельзя не есть. — Я добавил даже: — Вот двери заперты.

Но брат тут-то нашелся:

— А окно?

Об этом я и забыл. Окно действительно выходило в сад, и я не знал, было ли оно там заперто, как дверь. Я замолчал; теперь уже торжествовал брат. Он вслух фантазировал:

— В окно приносят ей пищу, и она ест белые яблоки, а дедушка ей заводит табакерку и показывает синий камень. Потом она опять засыпает, и ее нельзя будить.

Я ничего не возражал брату, но с этого же вечера положил посмотреть, что делается в запертой комнате в «бабушкин день».

И на второй, кажется, год после моего разговора с братом, когда мне было лет девять, я привел в исполнение свой план.

Дедушка, как всегда, был в «бабушкин день» у обедни, потом ел кутью и пил чай — обо всем этом я узнал от няни и собирался идти в бабушкину комнату. Я тайком ушел из детской и прокрался в сад. Было чудесное майское утро, сирень цвела, и сад был в цвету, лиловый и белый, я шаркнул к белому кусту, который был около окна в бабушкину комнату, и затаился в нем, притулившись в самой его середине. Сердце мое билось. Я пристально всматривался в бабушкино окно, но ничего не было видно из-за спущенной плотной малиновой занавески. Я ждал несколько минут. Вдруг кто-то отстранил занавеску, и рука с алмазом на пальце распахнула окно: то был дедушка.

У него в руке был белый платок, и он переходил с ним от предмета к предмету, медленно двигаясь по комнате. Он притрагивался платком к мебели, к столу, к книгам и вещам и тщательно проводил платком по ним: я понял, что он стирает пыль.

Внутренность комнаты я не видел. Мне были видны лишь угол, дверь и одна стена. Комната была оклеена голубыми обоями с золотыми вет-

* Спящая красавица (*фр.*).

ками, наполненными белыми цветами с тонкою зеленью. У стены стоял туалетный стол бледно-зеленого дерева с серебряными украшениями. Два стула из темной бронзы держали овальное зеркало, завешанное голубой тафтой. В двух фарфоровых голубых подсвечниках вставлены были наполовину сгоревшие, витые восковые свечи, несколько флаконов и фарфоровых коробочек для пудры стояло возле зеркала, с одной из коробочек снята была крышка, и она лежала тут же, на желтом листке мелко исписанной почтовой бумаги; кое-где по столу были разбросаны булавки и шпильки. Золотой тонкий браслет лежал в раскрытом футляре из фиолетового бархата; маленький перламутровый веер пересекал угол стола. Все было в том виде, как будто только что отошла от туалета бабушка и еще не успели убрать камеристки вещи, или, может быть, бабушка еще и не ушла, а тут же она, за этой ширмой, расписанной по шелку пастушками и пастушками с овечками!

Над столиком, в толстой золотой раме, висел портрет. Я узнал бабушку. Да, это была она, но не та дама с собачкой, которую мы знали, она была молода и улыбалась так нежно, так тихо и ясно, что и мне, ребенку, что-то сказала эта улыбка, что-то согрела и посветила детскому сердцу. И вдруг мне стало так жаль — до слез жаль дедушку. «Вот она какая, бабушка, — подумал я. — Бедный, бедный дедушка! Что он делает тут?» Бабушка была в палевом тюлевом платье, и ворох красных и белых роз лежал у нее на коленях. Она тихо перебирала розы руками, и крупная, исчерна-красная роза была у нее в левой руке. И тут только, оторвавшись от предметов, бывших в комнате, и от бабушкина портрета, я посмотрел на дедушку. Он неподвижно сидел перед туалетным столиком, опираясь на толстую палку с серебряным набалдашником, и смотрел не отрываясь на бабушку. Он, мне показалось, шептал что-то. Что — я не мог расслышать. На его лице было такое глубокое и явное страдание, что и я, глупый ребенок, заметил его. Я с изумлением увидел, как одна за другой слезы потекли из глаз дедушки. «Дедушка плачет!» — чуть не вскрикнул я.

Да, он плакал, горько, безутешно и тихо, как плачут те, кто знает, что их никто не видит и не слышит, как плачут те, у кого нет и не будет ничего на свете, кроме этих слез, и бесконечно горьких, и бесконечно дорогих одновременно.

Дедушка плакал, а я жался в своем кусте, боясь зашуметь и прервать его слезы; я обвинял себя, что заглянул в бабушкину комнату, я просил про себя у дедушки и у Бога прощенья за это, я больно сжимал свою руку между двумя ветками сирени. «Так и надо, так и надо!» — почти шептал я. А дедушка все плакал, не скрывая и не удерживая слезы. Вдруг он схватил один из флаконов, стоявших на столике, открыл его и стал нюхать, крепко прижимая горлышко к лицу. Он впитывал в себя, жадно и страстно, последний запах духов, уже чуть слышный, едва сохранившийся в граненом хрустале. Что говорил ему этот запах? Напоминал ли он бабушку, был ли это запах ее любимых духов, запах ее платья, ее рук и лица, или просто минувшей молодостью веяло от него? Затем бережно, боясь сдвинуть или повернуть, он приник губами к желтому исписанному листку, лежавшему на столике, покрывая его бережными поцелуями, не в силах от него оторваться.

Я не выдержал больше. Я зашелестел сиреневыми ветками, бросился бежать из сада.

Я никогда больше не пытался узнать, что делает дедушка в бабушкиной комнате. Брату Арсению я не сказал ни слова о том, что видел. Я спо-

койно снес обиду, когда он назвал меня трусом и хвастунишкой; он долго дразнил меня тем, что я из трусости не исполнил обещания подсмотреть, кто живет в бабушкиной комнате.

31/1 <1917>

Золотая осень

1

И странное спокойствие и тишина поселяются во мне с этой осенью... Отошли весенние тревоги, и далеко палящее лето...

Жизнь проста и несомненна, и не надо искать в ней какого-то нашего отдельного, рассудочного смысла, который в сравнении с ней всегда мал и ее всегда умаляет.

Вечера и дни и ночи, осень и зиму, лето и весну полюбим, ниву колосящуюся и ниву сжатую, непорочность снегов и грязь осенней распутицы, смерть и рождение, волю и тюрьму! И может быть, нам откроется еще не виданный смысл во всем, что теперь давит нас и чего мы не понимаем, потому что малы пред ним.

Я жду осенних вечеров, жду одиночества, поздних ночей при лампе за книгой, и еще чего-то я жду... Чего? Бог весть!

А осень смотрит на меня, и я благодарно повторяю про себя за книгой стихов и под шуршанье опавших листьев: здравствуй, золотая, холодная осень! Моя первая осень!

10/XII. 11 ч. веч.

2

Няня поздно зажигает по вечерам огонь, и я люблю бродить в сумерках, ежась от холода, по террасе и по ближней дорожке сада, где сажусь на затхлую темно-зеленую скамейку и слушаю, как грустно молчит сад, теперь уже почти пустой и холодный... Я ворошу ногой порыжелые сухие листья, сметенные в небольшие кучки медно-красного цвета; кое-где из-под них несмело выглядывает еще зеленая редкая трава и сухие длинные стебли былинки, чуть колеблемые ветром, — и какое-то бодрое, немного грустное чувство овладевает мной...

Подбегает ко мне, шурша по дорожкам листьями, Бисмарк, старый сенбернар, который еще помнит мое детство, и я помню его еще маленьким, живым, потешным щенком с нескладными, болтающимися ушами... Он теперь серьезный, неторопливый; его глаза те же: черные, умные, но грустные глаза старика, который знает, что пришли старость и конец и не уйти, не избавиться от них.

Расшифровка текста и публикация А.Б. Галкина. На с. 1, на полях рукописи, рукой Дурьлина написано: Золотая осень неоконч. рассказ (1908?) (это единств. экземпляр). РГАЛИ. Ф. 2980, оп. 1, д. 182, л. 4–13 об.

Бисмарк садится против меня и смотрит мне в глаза приветливо, махая хвостом. Я глажу его и невольно долго оставляю свою руку на умной, породистой морде, я заглядываю ему в глаза, и мне кажется, он понимает меня. Он кладет мне голову на колени, и думается мне — у нас с ним одно чувство...

Он ложится у моих ног и не двигается, молчит.

Все кругом молчит.

Няня, закутанная в большой серый шерстяной платок, который я тоже помню с детства, появляется на террасе и зовет меня пить чай. В окне дома слабо дрожит огонек лампы. Я отвечаю няне: «Иду», — и Бисмарк, понуря голову, плетется за мной... Он ложится в столовой у входной двери и, склонив голову на лапы, дремлет весь вечер, только временами просыпаясь и сонно оглядывая меня глазами, как бы желая удостовериться, тут ли я...

В столовой светло и тепло. От деревянных некрашенных столов пахнет свежей сосной. Самовар тянет тихую, постепенно слабеющую песенку. Выются серебристые тонкие струйки пара, — и опять тишина, всюду и везде тишина охватывает меня.

Я раскладываю перед собой книгу — это холодные, кристальные стихи Тютчева или тихие зори и грустные вечера Александра Блока — и подолгу перечитываю одно и то же стихотворение и неслышно повторяю про себя:

Разгулялась осень в мертвых долах,
Обложила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный свет зареет издали.

Няня наливает мне чаю, и я пью стакан за стаканом крепкий, красноватый чай с лимоном.

Няня часто вздыхает и охает, и я знаю, что она хочет мне что-то сказать, но не решается и ждет, когда я замечу это и заговорю с ней... Я прошу ее налить мне еще чаю и говорю ей, чтобы что-нибудь сказать:

— Няня, когда будут у нас вставлять рамы?

— К Покрову дню обязательно надо вставить, — отвечает она. — Утренники теперь крепкие стоят. Яблоки теперь тоже обернуть бы надо... Померзнут... Самое бы теперь время...

Я молчу.

— Было мне письмо, — продолжает няня. — Петр Лукич пишет. Дяденька Николай Евгеньич обижаются, что писем от тебя давно не было. Ты бы написал дяде-то, Мишанька...

Дядя Николай Евгеньич, отставной кавалерийский полковник, богатый помещик средней полосы, — мой бывший опекун. Петр Лукич — его камердинер, большой нянин приятель, суровый и умственный старик, обучавший меня в раннем детстве складам...

Няня смотрит на меня и продолжает:

— Второй месяц ты дяде не писал... С самого, почитай, Петрова дня...

Няня всегда счет дням ведет по большим праздникам.

— От родных отбиваться не след. Ты одинокий, и никого у тебя, кроме дяди, нет.

Это правда, я — одинокий. Никого у меня нет. Отец умер, когда я еще был совсем маленький, и о нем я помню только, что он был постоянно

болен, и помню его глаза, которые — мне всегда казалось — говорили: «Да, вы будете все жить, будете расти. Любить, радоваться вашей молодости, вашему здоровью, а я умру, непременно умру, и мне теперь уж ничего не надо, потому что все равно скоро смерть и конец...» Еще я помню длинные желтые восковые свечи, перевитые черными лентами, которые стояли у его гроба; его потемневшее восковое лицо, такое знакомое и странно-чужое...

И помню я отца, когда мне велели простаться с ним, поцеловать его руку и лоб, — и все непонятное и страшное, что было для меня в его смерти, вдруг разом захватило меня, когда, прикоснувшись губами к его руке, я вдруг почувствовал так близко, так явственно резкий, удушливый, ошеломляющий запах трупа. И я заплакал — от острой жалости к отцу и темного страха перед тем, что совершалось с ним... Меня кто-то отвел от гроба, и я долго сидел на скамейке где-то около окна церкви, за которым светились солнцем и весной молодые березовые ветки, и плакал... А потом я не помню, что было...

Потянулись новые дни. Мы переехали с матерью в другой дом. Я помню низкий немощеный двор, по которому важно разгуливали куры и гуси, помню длинные зимние вечера, когда я один бродил по пустым и темным комнатам огромного старого дома, и гулкие шаги раздавались за мной, и я принимался в страхе бежать в детскую, а за мной кто-то гнался, огромный, невидимый, и смеялся надо мной, и мучил меня...

Я вбегал в комнату матери, прятал в испуге свое лицо в ее колени, а она ласкала меня, покрывая мне голову поцелуями, и я успокаивался, усаживался вместе с ней на большой кожаный диван, и она рассказывала мне, кутаясь в черную шаль, истории про Гулливера и лилипутов, а я слушал. И незаметно слипались мои глаза, и я засыпал, прижавшись к ее плечу...

Потом приехал дядя — полковник Николай Евгеньич, или «дядя Ника», как мы звали его, и разом шумом своего низкого голоса и грузных шагов <нрзб.> наполнил наш тихий дом... Он сажал меня к себе на плечо и носил так по комнатам, а я замирал от восторга и гордости. Он гладил меня по голове, постукивал иногда по щеке большим золотым перстнем с его инициалами, который он постоянно носил на мизинце левой руки, и поговаривал, обращаясь к матери:

— Славный из него выйдет командир. Отдай его, Nadine, в корпус.

— Этого никогда не будет, пока я жива, — обыкновенно отвечала на это мать. — Я не могу никогда забыть, что Serge (мой отец) воспитывался в корпусе. Там он получил свою болезнь. — И опять отвергивалась от дяди.

Дядя хмурился и неловко повторял:

— Но я ведь не настаиваю, матушка... Я ничего не говорю. Делай как знаешь... — И дядя тревожно расхаживал по комнатам, заложив за спину руки...

Мой отец прежде служил в военной службе, и мать думала, что в корпусе и на службе схватил он чахотку, которая свела его в могилу.

По вечерам мать с дядей запирались в угловой комнате, в «диванной», и долго о чем-то говорили. От няни я слышал, что меня хотят отдать в гимназию, которая была в губернском городе, — а мы жили в тихом, глухом уездном городке. Я волновался, и сердце мое замирало жутко-жутко.

Однажды после обеда дядя позвал меня в диванную. Предчувствуя недоброе, я прибежал туда и подошел к матери, которая порывисто обняла

меня и заплакала. Я не мог удержать своей тревоги и тоски и тоже заплакал...

Вошел дядя, укоризненно покачал головой на маму и промолвил:

— Ну, о чем плакать? Nadine, надо же сдерживать себя хоть при ребенке...

Мать поцеловала меня и отвернулась в сторону.

Дядя взял меня за руку, подвел к окну и, погладив по голове, сказал:

— Ты уже, Миша, большой мальчик. Пора тебе приняться как следует за учебу. Не увидишь, как время бежит.

Сердце у меня совсем замерло.

— Дома где здесь учиться! Ты умеешь читать, и писать, и считать, и тебя легко примут в подготовительный класс гимназии. Там у тебя будет много товарищей, будет весело, будут интересные книжки... будешь учить стихи...

Но меня ничто не прельщало. Я уткнулся носом в угол и тихо заплакал. Дядя искал, видимо, что бы ему придумать еще интересное для меня из гимназического житья-бытья, и неловко добавил:

— Будешь баллы получать... награды. У тебя будет нарядный мундирчик. Знаешь, такой синий, с светлыми пуговицами...

Но тут я совсем разрыдался. Мать подошла ко мне, я прижался к ней и кричал:

— Не хочу! Не хочу в гимназию! Хочу дома!

Мать утешала и успокаивала меня, а у самой на глазах были слезы. Дядя беспокойно шагал из угла в угол по комнате и не знал, что ему делать. Бронзовая статуэтка Наполеона, стоявшая на угловом столике, вздрагивала и глухо звенела от его шагов.

Пришла няня и увела меня в детскую. Той ночью я спал беспокойно, и мне виделись во сне гимназия и какие-то суровые, неприятные люди, которые мучили и били меня, и я плакал во сне.

Через несколько дней меня собрали в гимназию, и я уехал вместе с дядей.

Когда мы уселись в бричку и дядя велел трогать, я вскрикнул и хотел выпрыгнуть из брички к маме, которая стояла на крыльце и махала мне платком. Дядя удержал меня, и, когда я в последний раз взглянул на мать, сердце у меня упало и мне показалось, что я ее вижу в последний раз. Я и видел ее в последний раз...

Помню как сейчас туманный осенний день, серые, тоскливые стены гимназического зала, помню сухой, усталый голос директора, который звал меня к себе, и помню эти слова, такие простые и немудреные, но такие непонятные и мучительные в ту минуту:

— Ваша матушка скончалась... Мне пишет ваш уважаемый дядюшка... Завтра вы пойдете в церковь, и батюшка отслужит вам панихиду... От души сочувствую вашему горю...

Я стоял, бледный, и не понимал, что говорил мне директор; я теребил пуговицу своей куртки; потом в памяти пронеслось то последнее утро в нашем доме, мой отъезд, мать на крыльце в темном платке, ее большие серые заплаканные глаза, с тоской смотрящие на меня, — и я вдруг все понял, — понял, что тогда видел мать в последний раз и больше никогда уже ее не увижу, — и я горько-горько заплакал...

В гимназию приехал потом дядя, успокаивал и ласкал меня и говорил мне, что я останусь в гимназии...

— Она сказала: «Пока я жива — не будет этого...» То есть ты будешь в гимназии, а не в корпусе... Я ничего не хочу менять... Как Nadine хотела, так и будет. Она для меня вечно жива.

И я остался в гимназии.

Тянулись бесконечные дни, вечно повторные, вечно те же, — из их длинной, долгой цепи я не могу теперь выделить ни одного звена, ни одного яркого дня, другого, непохожего на бывшее прежде. Летом я уезжал к дяде в имение, где была привольная, ленивая степная жизнь. Дядя был холост, хозяйством заправляли моя няня да Петр Лукич, верный дядин слуга, молчаливый старик с густыми седыми бровями, постоянно, летом и зимой, ходивший в мягких валенках и зеленом камзоле... Из той поры я люблю вспоминать крутые, обрывистые берега Вóжи, поросшие мелким кустарником, в котором по весне на заре стоял серебристый, нежный перелив соловьев, — люблю представлять себе тихие, темные болотные глубины и заводи в заливных лугах, где в ясной, стройной осоке гнездились выводки диких уток, — я и теперь как будто дышу этим сыроватым, дурманящим, крепким запахом лугов, и мелких ивовых порослей, и болотных желтых кувшинок, и недвижных бочагов, где темь, и сырость, и влекущая муть...

Шло время, я из худенького, бледного мальчишка, больше всего любившего одиночество и книги, превращался в юношу, бродившего летом целыми днями по речным откосам и луговым зарослям. Я уходил туда рано утром и возвращался домой поздно вечером, почти ночью. Я не брал с собой ни книг, ни ружья — лишь несколько кусков хлеба с солью. Лежа на траве, хмурясь от нестерпимого летнего солнца, я наклонялся к реке и зачерпывал ладонью холодной воды и жадно пил ее... Потом я шел купаться к глубокому, темному бочагу, где вода — спокойная и неподвижная — манила и завлекала в холодную, жуткую глубину... Я сбрасывал с себя платье на траву, которая была как живая: тысячи разноцветных насекомых кишели в ней: как легкие, светящиеся миражные огоньки, сверкали крыльшками быстрые стрекозы, неумолчно, упорно там и здесь бились в воздухе <нрзб.> звонкими невидимыми молоточками зеленые кузнечики — и травы были нежные, ярко-зеленые, сочные... Пахло слитным, тягучим, пряным запахом трав, цветов и воды. Жирная темная земля проглядывала из-под хитрых зеленых сплетений и узоров травы... Небо, палящее, синее-синее, с ослепительным серебром облаков, тянулось к влажной, прекрасной, влекущей земле, — и странная, непонятная, обессиливающая истома овладевала мной... Я — голый — кидался на траву, и смотрел на небо, и вдыхал в себя порывисто и часто теплый душистый воздух, и впивал безудержно, сильнее и сильнее пряный, дурманящий, резкий аромат воды и цветов, травы и земли... Ноздри мои расширялись, сердце билось часто и тревожно, странные желания теснили меня, смутное влечение — томило мое горячее влажное тело, я подползал к бочагу, свешивался над ним и долго глядел на свое отражение в хрустальной воде.

Над светящейся темью воды резко белело тело, и меня тянуло куда-то. Я заламывал руки в непонятно жутком томлении, я охватывал ноги руками и прижимал пылающее лицо к коленям, прикосновение к телу жгло меня, — и в быстром, мучительном порыве, горячий, томимый, бросался в воду и плыл к другому берегу, резко рассекая воду и сильно подаваясь всем телом вперед.

Я вылезал на противоположном берегу, долго стоял над водой, и опять в волнующейся, дрожащей воде белело мое тело над темнеющей глубиной, — и снова бросался я на мягкую душистую траву, и приж[им]ался телом к земле, закрывая лицо руками.

Когда начинал спадать жар, я одевался, ел хлеб с солью и шел на скошенный луг, где рыхлили сено, и, пройдясь <нрзб.> по лугу с граблями,

шел дальше, на пасеку к деду Василью, оттуда еще куда-нибудь, и только вечером, когда тускнела заря и темнели лесные дали, возвращался домой.

И любил я тогда из людей только одну няню...

И ей-то пришлось жить теперь со мной, в моем одиночестве, в этом маленьком именице, которое досталось мне от матери...

И мне никого не нужно сейчас.

Даже трудно было бы жить с кем-нибудь другим. С няней я могу вести эту тихую, простую, однообразную жизнь, которую так люблю, могу слушать ее рассказы из моего дальнего детства, из ее несложной и немудреной жизни, и я забываю тогда все то мучительное и непонятное, что есть в жизни и что ждет меня, где-то притаившись, и тишина лечит меня, и одиночество целит...

Я с улыбкой смотрю на няню, я отвечаю ей:

— Няня, я скоро буду писать дяде... Наверное, с следующей почтой.

И она, довольная, как будто мне снова восемь лет и я — ребенок — исполнил ее просьбу, говорит мне:

— Завтра на пирожки яблоков испеку... Антоновских, твоих любимых... Нынче антоновские-то уродились...

И опять тишина какой-то светлой радостью наполняет мне душу, и я рад своему одиночеству, темным осенним вечерам и спокойной, холодной мудрости тютчевских стихов.

3

Дни становятся короче, скоро темнеет, и тогда беспокойная осенняя тоска бродит по дому...

Бисмарк, чуя холод, жмется к печке и, когда спит, закрывает себе нос лапами.

По утрам я брожу по саду и изредка захожу на деревню — если день сухой и холодный. Все потемнело. Везде серые, тоскливые краски и тона. Избы на деревне стоят хмурые, темные, уныло хлопает бадьей на колодце студеный ветер, в лесу гниет и чернеет порыжелый лист. Только в поле зеленеют светлые, ярко-молодые озими, и темной <нрзб.> полосой пересекает их кривой проселок.

Я открыл у себя в груди старых книг Овидия в лейпцигском издании, которого не читал с пятого класса гимназии. Буду читать по вечерам. Прочел я пока еще немного. Когда ночью, часов в двенадцать, я выхожу на крыльцо, я долго смотрю на темное, неподвижное, спокойное осеннее небо, где в ясном холоде переливаются синим серебром бесчисленные звезды и искрится матовым блеском туманный Млечный Путь, — и, глядя на небо, я медленно повторяю про себя овидиевский стих, светящийся в моей памяти: «Est via sublimis, caelo manifesta sereno...»*

Да! Есть там, высоко на синем небе, ясный путь, неведомый земле...

Далекий, безбрежный, безвестный путь!

И тогда я возвращаюсь к себе в комнату и начинаю ходить из угла в угол... Хожу час, два...

* Есть дорога в выси, на ясном зримая небе... (лат.) (Овидий. Метаморфозы. Кн. 1, ст. 168 / Пер. С.Шервинского).

На ночь всегда ставлю себе на столик два стакана крепкого чаю и временами отхлебываю из них холодную, темную, вязущую жидкость. Это меня успокаивает на минуту.

Бьется учащенно сердце — и я замираю в какой-то непонятной для меня тревоге. Тогда я, крадучись, чтобы не разбудить няню, прохожу по коридору и опять выхожу на крыльцо. Жгучий холод осенней звездной ночи охватывает меня, я стараюсь как можно больше вдохнуть в себя воздуха и опять возвращаюсь к себе в комнату, ложусь в постель, тушу лампу (у меня постоянно горит лампадка, которую няня затепляет по утрам) и пытаюсь заснуть.

Но это удается мне нескоро. Невольно хочется думать — или, верите, не думать, а перебирать в памяти людей, прочитанные книги, мысли, чувства, все...

Я думаю о том, что моя жизнь свободного и независимого человека может быть шумной и пестрой, и все-таки, со всем ее шумом и сложностью, она будто не больше сложна и непонятна, чем теперь. Мне вспоминаются последние годы в гимназии и тот единственный год, который я провел в университете.

Меня уволили из университета за беспорядки, в которых я не принимал участия, и административно велели выехать из столицы. Теперь я могу жить где угодно, но как приехал тогда сюда, к себе в деревню, так и живу в ней, хотя я за это время ездил ненадолго в Крым и на Кавказ...

В университете я начал изучать классическую филологию, особенно интересовался я периодом последнего язычества и раннего христианства. Я даже собирался писать сочинение об Юлиане Отступнике и начал переводить с греческого его «Цезарей»*, «Брадоненавистника»***, «Ad solem regem****».

В блестящей и напряженной борьбе, какую вел кесарь Дионис с торжествующим галилеянином, мне постоянно чудится последняя, трагическая борьба золотых лучей склоняющегося к закату солнца с надвигающимися осенними сумерками. Победят сумерки, но победа их — поражение, и лучевое поражение — светозарная победа. В той этике было что-то бесконечно нам близкое: она вся светится тускнеющим золотом осени, но она пророчит лето, и мы, быть может, близки к свершившимся пророческим срокам.

* Юлиан Отступник, Флавий Клавдий (Julianus Apostata, Flavius Claudius; 331–363 н.э.) — римский император, ритор и греческий философ. Родился в Константинополе, сын Юлия Констанция, брата Константина Великого. Приняв власть, Юлиан издал эдикт о веротерпимости, призвал из изгнания христианских епископов — сторонников Никейского символа (среди них Афанасия). Юлиан провозгласил религиозную терпимость и не преследовал христиан, но боролся против христианства и стремился создать сильную языческую церковь по образцу христианской Церкви. Под произведением «Цезари» С.Н. Дурьлин, вероятно, имеет в виду три речи Юлиана Отступника, датируемые 356–357 годами: «Похвалу цезарю Констанцию» («Enkomion eis ton autokratora Konstantion»), «О деяниях цезаря Констанция» («Peri ton tu autokratoros prakseon e peri basileias») и «Похвалу императрице Евсевии» («Eusebieas tes basilidos enkomion»). Эти речи восхваляют императора Констанция и императрицу Евсевию (*Примеч. публикатора*).

** Имеется в виду сатирическое сочинение Юлиана Отступника «Враг бород» («Misogogon»; 362–363), высмеивавшее антиохийских христиан, восстававших против нововведений Юлиана (*Примеч. публикатора*).

*** Король-солнце (*лат.*).

В безумном, последнем, ослепительном, трепетном Ницше*, в его пророческой, гневной книге против обманувшего мир галилеянина еще звучат отзвуки дальних речей ушедшего солнца — Юлиана. Галилейские пленены не вечно, и возведен его конец, — галилеянин умер** и тленьем заразил мир, — но вновь Светозарный, Миродержавный Бог золотых лучей — и мир ждет его призывного клича: «Ad solem regem!»

Здесь, в тишине, в безмолвии золотой осени, в мирном осиянье золотых далей, этот клич радостнее и светлее звучит в сердце, — и когда я думаю обо всем этом, мне начинает казаться, что с этим что-то связано в моей жизни и что-то еще будет там, в дали, которую я не могу предугадать. Лежит там — внутри, в душевной темноте и глубине, как в весенней земле, зерно, и таинственные ростки его тянутся к свету, и под расплавленным золотом солнечных лучей заблещут они в дни совершенной живыми, волнующимися золотыми переливами ржи, ждущей ясной стали серпа и жатвенного пира.

4

Вчера два письма.

Одно от Кости. Другое — от Мары.

Когда няня передала их мне, руки у меня задрожали, я взял письмо Кости, которое сразу узнал по его шершавому, волнующемуся почерку, и зачем-то стал разглядывать его через конверт на свет. От письма Мары — лиловый треугольник — пахло левкоем, — ее любимый запах.

Милый, нежный, пахучий левкой!

* Ницше.

** В 363 году во время похода против персов Юлиан Отступник умер от ран, полученных в битве под Маренгой. Слова, якобы произнесенные Юлианом перед смертью: «Ты победил, Галилеянин!» («Galilaie nenikekas»; лат. «Galilae vicisti») — встречаются только в свидетельстве Феодорета (V век). Под Галилеянином подразумевается Иисус Христос (*Примеч. публикатора*).



НАТАЛЬЯ ЛЯСКОВСКАЯ



СЛОВА В ТАИНСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ...

Сильный Ангел

Приходилось плакать много, пережить немало зла,
все просила я у Бога — ничего не отдала.

Так судьба вилась-вертелась, что хоть голову в петлю,
ну а мне — смеялось, пелось, я любила и люблю.

Даже каторжной порою беззащитной не была:
Сильный Ангел надо мною простирал свои крыла.

Уберег от поруганий, от шестнадцати смертей,
разгонял беду кругами, помогал спасать детей.

Бог помог — прибилась к храму: отрыдаю, отмолю
брата, бабушку и маму, всех, кого еще люблю.

А потом уйду бесследно — лишь легонько мир тряхнет...
И тогда мой Ангел бедный наконец-то отдохнет.

Наталья Викторовна Лясковская — поэт, переводчик, публицист — родилась на Украине, в г. Умани. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького, семинар Винокурова.

Работала на заводе, художником-оформителем в НИИ, дворником, мастером-позолотчиком в церкви.

Автор поэтических книг «Окно в давно забытый сад», «Лунная трава», «Душа Наташи» и др. Стихи печатаются в центральной прессе с 1981 года.

Член Союза писателей России.

Живет в Москве.

* * *

Я сама себе — Украина!
 Вы уж там, за таможенным тыном,
 без меня разбирайтесь: кто чей?
 У меня здесь два сына и Нина,
 бабы-Настина греет ряднина
 в знобизне московитских ночей.

Вы открыли католикам брамы?
 Здесь мои православные храмы,
 их любой предпочту я родне.
 Полюбила Россию сердечно
 и останусь верна ей навечно.
 Где мой Бог — там и родина мне.

Час придет — за зеленым оврагом
 на Николо-Архангельском лягу,
 рядом с дочкой, за то и держусь.
 Рай земной мне — хрущевская двушка.
 А что я — не скрывать же! — хохлушка —
 так я этим безмерно горжусь.

Разделила граница нас с мамой:
 связь по скайпу, звонки, телеграммы
 заменили свиданий живё.
 Но уж если домой вырываюсь —
 милой мовой моей упиваюсь,
 аж пьянею от звуков ее...

И в Москве духовитейшим салом
 украинским
 пропахли вокзалы,
 рынки, стройки, бордели, ворки.
 Только что-то не очень стремятся
 на Москве украинцы брататься.
 Друг пред другом молчат земляки.

Видно, в каждом — своя Украина...
 Мне конечно же не все едино:
 не хочу, чтоб бугристый урод
 (или кто там подходит вдогоны)
 сфасовал ее землю в вагоны
 И отправил Америке в рот!

Я молюсь: сохрани ее, Боже,
 и меня, ее часточку, тоже.
 Хай живэм, Батькивщина та я!
 Мир в умы, на столешницы — хлеба
 ниспошли, Милостивое Небо,
 нам в нелегкие дни бытия.

И отсюда, из русской столицы,
вспоминая любимые лица,
(в сердце — светлая боль, в горле ком),
припадаю к иконам, как птица:
да укроет родную землю
Божья Матерь
Цветастым Платком...

* * *

И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Б. Пастернак

Поставь слова в таинственном порядке — и вдруг свершится чудо из чудес:
стихотворенье оживет в тетрадке и лист бумаги возвратится в лес
и зашуршит листком в дубовой кроне, и кто-то сверху знак звезды подаст,
напомнив о библейском Соломоне, творящем вечный свой Екклесиаст.
Томленье духа или ловля ветра, молчанье, ночь наедине с собой.
Арабский Питер, русский город Петра, вербальный эрратив,
предсмертный сбой...

Далее — везде!

Трясаясь в гремучей электричке,
скрипя в железной борозде,
проснешься ночью по привычке
от крика: «Станция Кулички!» —
и громом: «Далее — везде!»

Вскричать — куда же делись люди?
Вскочить — а ног не оторвать.
А грудь уж горний воздух студит...
Вот так нам Бог, убогим, судит —
лишь умирая, прозревать.

Иным путем, к иному дому
по первозданной борозде
несясь, постигнешь сквозь истому,
кто ж возвестил тебе, простому:
«Ты будешь
далее —
везде!»

Волк

А.Е.

Когда гроза качает неба свод,
когда в зубах — холодный ветра свист,
открой свой красный
первоклассный рот
и пой про этот ветер,
вокалист!

И ветра вой,
и длинный голос твой
качаются вверху, как провода,
их замыкает синяя звезда
между собой...

И волчий вой —
над небом,
под землей,
от улетающих
кричащих черных рощ...
На землю хлещет
проволочный дождь
и в горло проникает
по прямой!

А ветер все неистовей и злей,
и голос твой, еще живой,
когда
волочатся и выются по земле
оборванные ветром провода...

* * *

Я почти разлюбила сирень: виноградно-ажурные кисти
вызывают лишь зуд да мигрень, как бодяженный спирт Montecristi.
Я почти разлюбила весну, этот нежный обман ежегодный,
и тоски золотую блесну ясно вижу в расцвете бесплодном.
Но еще не пускают уйти — так по-детски — объятия сына,
и еще не открыты пути, хоть повестку прислали с посыльным,
да еще — по артериям ток, когда вижу: неправ был Паскаль-то! —
трансцендентно взрывает росток динозаврову шкуру асфальта...

Открытка из рая

Кому? Любимому, конечно.
В район Мечты, в деревню Вечно
В графе «Куда».
Откуда? Из моей меморы,